



ЕВГЕНИЯ
ГИНЗБУРГ



ЕВГЕНИЯ
ГИНЗБУРГ



Крутой маршрут
Хроника времен культа личности



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г49

Серийное оформление — *Александр Кудрявцев*
Дизайнер — *Андрей Смирнов*

Гинзбург, Евгения Соломоновна.

Г49 Крутой маршрут : хроника времен культа личности / Евгения Гинзбург. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2026. — 878, [2] с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-092917-7

«Крутой маршрут» — это первое документальное произведение о сталинских лагерях, написанное женщиной. Драматическое повествование о восемнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок потрясает своей беспощадной правдивостью и вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломали страшные испытания.

«Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления. Неужели такое мыслимо? Неужели это всё всерьез? Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем». *Евгения Гинзбург*

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Е.С. Гинзбург, наследники
© А.П. Аксенова. Предисловие
© Л.З. Копелев
© Р.Д. Орлова
© ООО «Издательство АСТ»

ISBN 978-5-17-092917-7

О МАТЕРИ

Мне было три года, когда я вдруг ощутила доселе незнакомое: откуда-то из воздуха магаданского детдома возникло и стусилось — то ли запахом, то ли на ощупь, а, может быть, я сразу увидела — и мгновенно поняла: мама! Надо мной наклонилась мама! Я это знала всеми своими чувствами и запомнила на всю жизнь. И где бы я с тех пор ни находилась, иногда и теперь рядом со мною что-то такое сгущается, и все мои чувства собираются в комок и явственно говорят мне о ее присутствии в моей жизни.

О том, что я приемыш, мама сказала мне лишь через пятнадцать лет, опасаясь, что мне станет известно об этом от кого-нибудь из читателей «Крутого маршрута», уже опубликованного к этому времени на Западе и быстро распространявшегося в самиздате. Мне книгу долго не показывали, очевидно, опасаясь новых репрессий, которые в случае моей осведомленности могли бы коснуться и меня. А удочерение произошло в страшном для мамы 1949 году, когда ей грозил новый срок.

Мама печалилась о том, что книгу опубликовали без ее ведома — не потому что боялась мести властей, а оттого, что в рукописи все упомянутые лица названы подлинными именами. Она вздыхала: «Вот эта девчушка, которая в Казани смотрела на меня влюбленными глазами, — что будет, если она узнает, что это по доносу ее отца меня...» — и она сокрушенно качала головой.

Помню еще, как огорчалась мама, когда А. Твардовский во время поездки в Италию, полагая, будто может защитить возникшую в советской литературе лагерную тему, начатую Солженицыным, сказал, что «Новый мир» не собирается печатать книгу Евгении Гинзбург, потому что это «переперченное блюдо» (там были произнесены и еще какие-то малоприятные выражения).

«Он вернулся, — рассказывала мама, — заперся у себя на даче и который уже день по-черному пьет, бедняга!» Ни слова упрека, только жалость.

Не дело детей говорить о книгах своих родителей, я и не ставлю перед собой такую задачу. Есть масса отзывов — как солагерников, так и собратьев по ремеслу, литературоведов, друзей, противни-

ков, недоброжелателей, просто читателей. Ни спорить с кем-либо, ни отстаивать какую-либо позицию я не собираюсь, да и права не имею. Но мне и о ней самой, о Евгении Семеновне Гинзбург, очень трудно говорить. Могут подумать, что мне мешает благодарность приемной дочери. Нисколько! Я жила в семье и не знала, что эта семья мне подарена, и была уверена, что в этой семье родилась. Как в любой семье, здесь бывало всякое. Боюсь, я доставила маме больше огорчений, чем радостей. Но вот какая странность: об Антоне Вальтере, моем приемном отце, я, кажется, могла бы написать подробно, вникая во все детали. О Евгении Гинзбург — нет! Почему? Не знаю, не спрашивайте.

Я могу сказать только то, что и так вычитывается из ее книги, что запечатлено некоторыми мемуаристами. Она была очень ярким человеком. Красавица, умница, с обостренным чувством юмора. Колоссальная эрудиция и огромная трудоспособность. Блестящая речь и женский магнетизм (не утраченный до самых последних дней ее жизни). Стихи она могла читать наизусть часами. Кстати, она и человека могла оценивать по тому признаку, как он относится к определенным стихотворениям. Помню, как однажды была шокирована одна либеральная компания, когда она стала защищать литератора, служившего предметом постоянных нападок прогрессистов.

— Что вы, — горячо вступилась она, — мы с ним долго говорили о Владимире Соловьеве. Он помнит наизусть мое любимое:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

И она увлеклась и дочитывала стихи до конца:

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Я заметила, что эти стихи были вообще тестом, который она время от времени устраивала различным людям, особенно полужнакомым (вокруг нее всегда было множество народу, в том числе

и ненадежного). С ее точки зрения, это был трудный экзамен. Вообще же, несмотря на весь ее суровый опыт, она была чрезвычайно открыта, доверчива и, я бы сказала, наивна.

Странно было бы, если б на этих страницах, ломясь в открытую дверь, я стала бы рассказывать о неимоверно большой роли, которую сыграла книга Евгении Гинзбург или ее личность в моей собственной жизни. Но мне все же было чрезвычайно интересно узнать о том влиянии, которое было оказано книгой и ее автором на людей моего поколения, то есть на шестидесятников — людей, заставших краешек сталинской эры и перешедших в постбрежневскую, а теперь уже и в постельцинскую эпоху.

Я спросила об этом одного из тех, кого мама в 60-е годы называла своими молодыми друзьями (вокруг нее всегда было много молодежи). Вот, что он мне написал в письме, разрешив цитировать его без указания имени: «Впервые я увидел Евгению Семеновну в доме моих родителей, когда мне исполнилось лет 17-18. К этому времени у нее уже были закончены какие-то главы ее книги, и в тот же вечер отец разрешил мне почитать рукопись, названную «Седьмой вагон».

Я читал и вспоминал лицо и интонации женщины, которую я только что видел, и соотносил ее образ с написанным. Я не мог даже догадываться о существовании ада, описанного в рукописи, — я читал такое впервые, но вот эта женщина с искрящимися юмором глазами этот ад пережила. И я отчетливо помню, что эмоциональная буря, вызванная во мне рукописью, была спровоцирована не в последнюю очередь эстетическими достоинствами повествования, а не только ее гуманитарной направленностью.

Евгения Семеновна рассказывала (об этом есть и в книге, но я ясно помню ее устные выразительные средства), что она может по глазам определить бывшего лагерника и часто огорошивает незнакомого человека вопросом о том, где тот отбывал срок, — и ни разу не ошиблась! Я пытался понять, что выдает узника лагерей, и подолгу вглядывался в ее глаза — они были удивительные! Во-первых, они всегда светились. Во-вторых, в них всегда была готовность к остроте — своей или чужой. В-третьих, в них всегда была печаль — неизбывная и... таинственная, потому что поверх этой тоски всегда прыгали искорки, если не сказать: чертики.

Мне показалось, что я понял, как выглядит лагерный отпечаток в зрачках, и однажды, когда уже студентом МГУ я был на приеме у зубного врача, мне показалось, что я опознал в дантистке лагерницу. Мне был назначен новый прием на следующий день, и я отправился на него с огромным букетом цветов. В назначенный час кабинет был закрыт, и я стоял перед запертой дверью, когда, наконец, появилась сестра и сказала, что сегодня приема не будет: Анна Михайловна плохо себя почувствовала. «Вот, передайте», —

сказал я, протягивая букет. Так и не пришлось мне проверить, точно ли я определил лагерника, но что дантистка была обаятельна, несмотря на бормашину в руке, я сумел догадаться, соотнося ее облик с образом Евгении Семеновны.

Ты знаешь, Тоня, я всегда помнил о Евгении Семеновне, то есть не просто хранил память о ней, а как бы все сопоставлял с нею, она дала мне в жизни масштаб, по сравнению с которым то, что могло считаться крупными неприятностями — доносы, подозрительность спецслужб и т.п. — становилось мелкими неурядицами.

Я обсуждал вопрос о степени воздействия «Крутого маршрута» со своими друзьями, которые не были, как я, знакомы с автором. Они, тем не менее, как и я, склонны видеть в ней свою воспитательницу. Переход из брежневского времени в наши дни подготовлен и облегчен людям «Крутым маршрутом». Как бы величествен (и пафосен!) ни был подвиг противостояния коммунистической системе, затеянный Солженицыным, он никогда не отодвинет светлого и доброжелательного взгляда, мерцающего со страниц книги Евгении Гинзбург. Доброта в искрящихся женских глазах, может быть, могущественнее мрачной мужской раздражительной силы. (Да простит меня Евгения Семеновна, она всегда сердилась, если кто пытался сравнивать ее с Солженицыным. «Не путайте Божий дар с яичницей», — говорила она. Ей-Богу не путаю, Евгения Семеновна, теперь это уже вполне очевидно.) Евгения Семеновна навсегда научила меня, ты, Тоня, наверно, тоже затвердила эти слова: «Лишь одно на целом свете — только то, что сердце к сердцу говорит в живом привет».

Тоня, я не пишу мемуары, не хочу, а в случае с твоей мамой, может быть, и права не имею. Я нередко бывал в ее московском доме, я помню мнемонический прием, с помощью которого она советовала пользоваться ее телефонным номером, (не забыл до сих пор: АД-1-37-18). «АД один — это нетрудно; 37 — это год, когда меня посадили; 18 — столько лет я просидела». Но мои воспоминания — во-первых мелочи, которые уже есть в многочисленных мемуарах, а во-вторых, почти всегда и неизбежно героем повествования становится сам мемуарист. Дальнейшее — молчание».

Вот такое письмо от человека, с которым я почти чудом встрети-лась, не видев его более сорока лет.

Спасибо, мама!

Антонина АКСЕНОВА

2007 г.

Евгения Гинзбург
КРУТОЙ МАРШРУТ

*И я обращаюсь
к правительству нашему
с просьбой:
удвоить,
утроить
у этой плиты караул.*

ЕВТУШЕНКО

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?

Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой природы, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

Публикация дается без сокращений и исправлений по рукописи автора. — *Peg.*

ЧАСТЬ I

Глава первая

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж — Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепу, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то — коммунист...

Глава вторая РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но

еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Катальников? Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» — значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросающийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, — все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумыч?

— Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т.д...

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на

своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

— Профессора-то нашего... рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

Глава третья
ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парт-организации не выступал против него...

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последую-